

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
К 14

Philip Kazan
APPETITE
Copyright © Philip Kazan, 2013
All rights reserved

Перевод с английского Анны Олефир
Оформление обложки Ильи Кучмы

ISBN 978-5-389-11029-8

© А. Олефир, перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

Памяти Уильяма Э. Спрюелла

О Ариэль, Ариэль,
как я буду скучать по тебе.
Будь счастлив в своей стихии.
Прощай!

У. Х. Оден. Моря и зеркала

Благодарности

Как всегда, огромное спасибо Джону Вуду и Джаневив Пегг из «Orion Publishing» за постоянную работу со мной; Кристоферу Литтлу и Эмме Шлезингер — за твердую руку и отзывчивое сердце; Таре — за ее терпение и советы, игнорировать которые, как я понял, можно только на свой страх и риск, а также моим родителям — за их мудрость и любовь.

Влечения от небес берут начало, —
Не все; но скажем даже — все сполна, —
Вам дан же свет, чтоб воля различала

Добро и зло, и ежели она
Осилит с небом первый бой опасный,
То, с доброй пищей, победить должна.

*Данте Алигьери. Божественная комедия.
Чистилище. Песнь 16
(Перевод М. Лозинского)*

Посвящаю сей рассказ
колесу Фортуны...
Мнил я: вверх меня несет!
Ах, как я ошибся,
ибо, сверзшись с высот,
вдребезги расшибся
и, взлетев под небеса,
до вершин почета,
с поворотом колеса
плюхнулся в болото.
Вот уже другого ввысь
колесо возносит...
Эй, приятель! Берегись!
Не спасешься! Сбросит!
С нами жизнь — увы и ах! —
поступает грубо.

*Из средневекового сборника стихов
«Кармина Бурана»
(Перевод Л. Гинзбург)*

Ночь ложится очень мягко, стряхивая свет с пыльного воздуха. После шума и суеты дня город завершает дела, успокаивается, ворча и порывкая, — запертый в клетке лев, покорно укладывающийся на свое ложе из пропахшей мускусом соломы. За моей спиной, в доме, звуки шагов рассказывают мне, кто чем занимается. Что бы там ни делали, срочного ничего нет. Под стрехой лоджии толстый бурый геккон слишком рано проснулся и суетится среди балок. Купол собора из красного становится оранжевым, нависая над крышами, как наше собственное заходящее солнце. Весь город обретает львиный цвет, а вдалеке, за Кареджи, горы уже потемнели.

На перилах стоит миска с персиками, достаточно спелыми, чтобы приманить одинокую, полную надежд осу. Я стараюсь пробудить что-то в памяти, но не так-то легко вспоминать в таком месте, где каждый камень наделен каким-нибудь смыслом и значением. Флоренция всегда вспоминает себя и в то же время создает нечто новое, что нужно запомнить. Такая путаница получается... Возможно, для того нам и дан купол, громоздящийся над городом словно исполинское пресс-папье, — чтобы держать воспоминания в порядке. В любом случае у меня и так предостаточно того, что нужно хранить в голове: меню, заказы, человек, привозящий из Пизы креветок и каракатиц. Я лениво роюсь в своих мыслях, но все кругом отвлекает. Даже воздух непрост. Запахи готовящейся еды сплетаются в нем с другими — пинии, подгнивших фруктов, мусора, сваленного в кучи позади домов. Так что я просто отдаю себя Флоренции, как делаю всегда. У меня нет выбора — и никогда не было. Я здесь, наверху, на своем балконе, смотрю вниз, но не отделен от всего. Я лишь еще один ингредиент.

Персики прекрасны. Они румянятся теми же оттенками, что и купол: краснотой черепицы, золотом, которое подмигивает с шара наверху lanternы. Мой друг помогал его там устанавливать. Не знаю, где он теперь. Мир будто стал больше в последнее время, но это мир за стенами. Что-то в свете, в том, как город вырастает в сложенных чашей ладонях гор, заставляет Флоренцию казаться центром всего сущего — она-то, конечно же, таковым себя и считает. Но мне нет до этого дела. Я просто хочу что-то вспомнить. Поэтому я тянусь за самым спелым персиком, беру мягкий шар, чувствую пушок его кожицы под пальцами. Он пахнет немного миской, немного камфарой, как бывает с очень спелыми персиками. На самом деле мне не слишком нравится ощущение шкурки на языке, поэтому я просто откусываю и даю кусочку тающего плода взорваться у меня во рту.

Вкусы оседают на языке формами и красками. Омуты сладости, горделивой и смолистой, как деготь, сочащейся из прогретой солнцем балки. Ртутные шарики кислоты мгновенно разбегаются, а затем застывают осколками и падают, словно сметенные с подоконника сосульки. Крошечные уколы уксуса выдают следы осы. Я ощущаю, как все это растворяется в золотом свете.

На мое плечо ложится рука. Я прижимаюсь к ней щекой, протягиваю персик — каждодневный дар. Он принят. Я закрываю глаза, чувствуя, как утасоющий свет оглаживает мои веки. Город дышит, и его дыхание — это пятьдесят тысяч голосов, пятьдесят тысяч душ, возносящихся и падающих во прах. Сегодня вечером оно тише шепота, но я слыхивал и рев. Много раз: когда сгорало множество прекрасных вещей, когда сожгли священника, ненавидевшего красоту. Когда бежали наши правители, когда французы маршем входили в город. Когда огромный колокол Синьории звонил по юноше, зарезанному под великим куполом, а мертвых выкапывали из могил и волокли по улицам. Когда трупы висели, как черные груши, на стенах двorca и осы взбесились, обожравшись тухлого мяса.

Все это случилось, и я все это видел. Но персики по-прежнему отдают амброй и сонными осаами. Столь многое утрачено, но стоит ли по нему тосковать? Купол все так же хранит нас, дер-

жит на месте. В печах зажигается огонь, начинает жариться и вариться еда. Дымы поднимаются прядями, основой на ткацком станке. Я вдыхаю все это — весь аромат, всю эту жизнь. Мою жизнь, уточной нитью вплетающуюся в ткань на станке.

Рука исчезает с моего плеча. Затем возвращается, гладит меня по щеке. Я поворачиваюсь и ловлю палец губами. На нем вкус персика и чего-то другого. Еще одна нить: то самое, что творит сложность из ничего, что придает смысл нашему огромному зверю, нашему городу — и нашим жизням. Я нашел это нечто, спрятанное у всех на виду. Ведь оно никогда не исчезало. Оно всегда было здесь.

Вот. Теперь я помню. И могу рассказать вам.

*Первый поворот
колеса Фортуны:*

«Regnabo» — «Я буду царствовать»



Флоренция, 1466 год

Моя мать умерла за день до того, как мне исполнилось четырнадцать. Я видел, как она сделала последний вдох — долгий, судорожный «ах». На самом деле ничего не изменилось. Тело на маминой кровати — восковое нечто с полупрозрачной кожей убитого кабана, из которого выпустили всю кровь, — уже много дней перестало быть моей матерью. В комнате стоял запах пота, лаванды и шалфея и еще ночного горшка. Когда священник чуть подтолкнул меня к трупу, я встал на колени у кровати, взял уже холодные пальцы и неохотно поднес их к губам — они пахли так же. Я прижался губами к венам, избороздившим тыльную сторону ладони умершей, и сделал то, что делал всегда: прикоснулся языком к ее коже, чтобы ощутить вкус.

Одни люди называют талант вроде моего даром, а другие — проклятием. В нем есть и то и другое. Сомневаюсь, что многие пожелаали бы узнать, какова на вкус смерть. Возможно, мы даже не захотим сидеть за одним столом с теми, кому интересны такие вещи. Но я, еще не достигший четырнадцати лет, открыл это для себя. Возможно, вы будете разочарованы: ведь я скажу, что смерть не имеет вкуса. Я говорю о самой смерти, о мгновении, которое уничтожает нас. У мертвых существ есть запах и вкус, и некоторые из них нам нравятся, иначе мы бы не оставляли мясо повисеть. Да мы бы вообще его не ели — разве что устрицы. Но сама смерть безвкусна; это пустота на языке. На коже моей матери оставались соленость пота и прогорклость чашотки. Я не надеялся найти те вкусы, которые любил: чеснока и лука, воды из колодца в нашем дворе, иногда чернил и всегда цветочной воды, которую мама покупала у аптекаря около Палатцо делла Синьория. Я ожидал болезнь и мыло и обнаружил

их, но вкусы были пустыми. Я вскочил, пошатнувшись, и бросился наверх, в угол лоджии, и стал качаться на пятках, пытаюсь изгнать все это из себя, отгородиться. Не потому, что мама умерла: я ожидал этого, да и люди все время умирали. Я вдруг осознал, что ей был присущ некий собственный, особый вкус, а я обнаружил это, только когда его не стало. Он ушел вместе с мамой, и я уже никогда не узнаю, что это был за вкус.

Мама хотела, чтобы у ее постели сидел брат, но Филиппо не приехал. Он уже много лет не жил во Флоренции, но весь город знал о его похождениях в Прато: как он обрюхатил монахиню, сбежал с ней, а затем ухитрился убедить Папу Римского, не меньше, позволить им обвенчаться. Он всегда был обаятельным соблазнителем, мой дядя Филиппо Липпи. Но во Флоренции до сих пор помнили, как он, попавшись на мошенничество, попытался обвинить другого, и тогда его вздернули на дыбу и растягивали, пока кишки не вылезли — впрочем, далеко не все, потому как его зашили обратно и выслали шалить дальше. Об этом-то помнили все. А вот о том факте, что дядя — величайший художник нашего века, вспоминали меньше, хотя его великолепные работы были повсюду. Это лишь подтверждало, что злые болтливые языки сильнее зоркого глаза ценителя прекрасного.

Но Филиппо приехал бы, если бы знал. Если бы мой отец соизволил ему сообщить, что мама умирает, дядя бы подковыстер, дабы попасть к ее смертному ложу. Он был маме лишь сводным братом — кузеном из лапшакийской ветви семьи, — но они любили друг друга так, будто вышли из одной утробы. Филиппо не смог бы ее спасти, однако мне, пожалуй, стало бы легче, если бы я видел возле маминой постели его щетинистое, обрамленное тонзурой лицо. И он бы нарисовал ее, живую и мертвую. Мне казалось, что, если бы в последующие дни, когда труп моей матери лежал среди свечей, а затем без особой шумихи переместился под простую мраморную плиту в церковь Сан-Ремиджо, я смотрел на все это глазами Филиппо, через линии, которые он чертил на бумаге угольком, пытаюсь запечатлеть то, что видят его глаза — в самом деле *видят*, — я понял

бы больше. Дядя показал бы нечто пропущенное мною. Ведь я знал даже тогда, что глаза Филиппо делали что-то, отличающее его от других людей, так же как мой язык, мое нёбо отличали меня. У настоящего художника голодные глаза. У Филиппо, с его аппетитом ко всему, уж конечно, были именно такие. Он видел вещи, которые другие упускали. А я чувствовал их вкус.

Я все еще сидел, скорчившись, у стены лоджии. Отец звал меня. Голуби копошились на балках над моей головой, снизу, с улицы, слышался перестук шагов. Мне хотелось заорать на них всех, чтобы заткнулись, оставили меня в покое, но вокруг была Флоренция, где покоя не дождешься никогда. Я поднялся на ноги — медленно, мучительно. Папа позвал меня опять. Я посмотрел через перила на улицу, надеясь разглядеть там какого-нибудь друга: Арриго, Тессину, братьев Ленци. Но увидел только головы, лысеющие, сальноволосые или покрытые шапкой, и ни одно лицо не было обращено в мою сторону. Поэтому я взял себя в руки и побрел обратно, чтобы преклонить колени у маминой постели. Священник и хирург сплетничали о каком-то судье. Папа ушел устраивать похороны. Затем все вышли, и я остался один. Мамин рот с почти белыми губами был открыт. Я старался не смотреть на нее, но вид этого темного овала казался непереносимым, и я попытался его закрыть. Вялость ее челюсти ужаснула меня, и, комкая влажные простыни, чтобы подпереть подбородок и закрыть рот, я кривился от ужаса того, что делаю. Мама ушла, но ее труп остался — опустевшая штукавина со ртом, который больше не мог ни дышать, ни говорить, ни ощущать вкусы. Пустой. Склеп. Наконец я закрыл ей рот и уронил лицо в ладони.

Легкий ветерок прошелестел в занавесках, и я поежился, уткнувшись лбом в мамину руку. Я вспомнил, что священник открыл окно, когда все закончилось, и теперь ветер принес мне самый обычный запах. Кто-то готовил баттуту: жарил лук, петрушку, свекольные листья. Сахарность лука, металлическая резкость свеклы, дымная, хлевная сладость сала теребили мое го-

ре. «Это жизнь, — говорили они. — Мы делаем это каждый день: отдаем себя на пищу для вас, для ваших флорентийских желудков». И внезапно я ощутил город, окружающий меня со всех сторон, как огромный грязный цветок, а сам я — вот он, в его центре, словно траурная черная пчела из тех, что тяжело снуют, жужжа, по нашим садам летом. Вот дом — стены, дающие нам приют и хранящие нас. Мы, Латини, живем здесь, на Борго Санта-Кроче. Окрест дома раскинулся округ, наш гонфалон Черного Льва, где люди жарят баттуту, как будто ничего не случилось, и где ее будут жарить, даже если всему свету придет конец. Дальше лежит квартал Санта-Кроче с огромной базиликой, чьи колокола вскоре, как только папа заплатит священникам, зазвонят по покойнице. И повсюду вокруг меня — сама Флоренция: паутина шумных улиц, бесчисленных переулков, башен, мастерских, дубилен, монастырей, церквей и кладбищ, где небо — лишь тонкая полоска синевы вверху, а земля — огромное брюхо с выложенными кирпичом внутренностями, заключенными внутри городских стен с их воротами и башнями. Там, снаружи, думают об ужине шестьдесят тысяч горожан: нищие, проститутки, члены гильдий, монахи, монашки, художники, аптекари, банкиры, калеки; их животы сейчас урчат лишь об одном: готовится баттута. Я был вовсе не один. Никто не остается один во Флоренции, даже мертвые. Мама уйдет в землю, черную от праха других флорентийцев из иных времен. Но в городе все так же будут резать лук, свекольную ботву и петрушку. Раскаленный жир неумоимо зашкварчит на сковородах, которые никому никогда не перечсть. И люди будут есть.

День моего рождения пришел и ушел. Я провел его за работой в лавке отца на Понте Веккьо. Папа был мясником — Латини были мясниками сотню лет или больше, развивая и расширяя дело неторопливо и умело. Папа отличался той же терпеливостью, что и животные, чью плоть он разрубал, резал и продавал. Он трудился в лавке накануне того дня, когда умерла его жена, и вернулся туда на следующий день. Тогда я ненавижу его за это, поскольку мне и в голову бы не пришло, что у папы могут быть такие же чувства, как у меня. Но когда он попросил меня помочь с несколькими овцами, которых требовалось разделать, я ответил «да» — не то чтобы мне когда-либо предоставлялся выбор в подобных вопросах, хотя, может, эта иллюзия свободной воли была подарком на день рождения, — и обнаружил, что тяжелая, кропотливая работа оказалась поистине чудесным даром. Мы стояли бок о бок, востря ножи об один точильный камень. Мы оба умели делать все необходимое, потому что я уже усвоил науку, перенятую моим отцом от своего отца, а я был сейчас последним звеном в цепи, которая тянулась к прежним Латини, забойщикам на бойнях в квартале Сан-Фреддиано, а до того — фермерам в Муджелло. Я нашел в этом некоторое утешение или, по крайней мере, отсутствие боли. В то лето я уже начинал привыкать к отсутствию мамы, но эта боль стала чем-то новым: будто мама была моей кожей и ее смерть оставила меня ободраным и кровоточащим.

Искать утешения у папы было трудно. Мама всегда выглядела мягкой и тихой, изящной, словно горlinka, а папа — огромным неопрятным стервятником. Все в нем было солидным, основательным и практичным: бритая голова сидела на шее столь

же толстой и жилистой, как у быка породы «кьянина». Нос, острый выпирающий клюв, не раз ломали; губы навсегда сжались в воинственную складку. Под ними, словно шпирон галеры, торчал жесткий уступ подбородка. В тот год папа еще мог одной рукой ухватить меня под мышку и поднять высоко над головой: я был парень крупный, но меньше, чем полутуша кьянинского бычка. Отец все время занимался работой, и всегда, всюду он выглядел счастливее, чем дома. Дома — и с мамой. Как я мог понять, что они любили друг друга?

Сейчас стыдно вспомнить, как я изумлялся тому, что мамина смерть так сильно опечалила отца. Это я любил ее, потому что понимал. Она вела себя тихо там, где папа шумел и буянил. Она читала книги и могла беседовать о живописи и музыке, а также все время жаловалась на мужа: он загадил ее кухню, его одежда пахнет скотобойней, уж слишком подолгу они заседают во дворце гильдии мясников. Мама читала Боккаччо, а папа орал и напивался до бесчувствия из-за цен на бычков. Она крепко дружила со своим братом Филиппо, которого мой отец на дух не выносил. Почему же он так по ней тосковал? Вроде бы пока жена была жива, он едва ее замечал. Она была чем-то вроде ненужной, заброшенной собственности — даже надпись на плите гласила только:

ИЗАБЕТТА ДИ НИККОЛАЙО ЛАТИНИ

«Изабетта, принадлежащая Никколайо Латини». А теперь он целыми днями ни с кем не разговаривает и практически поселился в своей лавке.

Вместе с отцом я выкладываю нарезанное мясо. Мы надела-ли стопки отбивных, рулек, груды блестящих, словно лягушачья икра, почек, шелковистые горы печенок. Теперь я безуспешно пытаюсь подвесить освежеванные бараньи бока перед лавкой. Мне немного не хватает роста, чтобы дотянуться до железных крюков, хотя уже в следующем году я до них дорасту. Не могу вспомнить, обнял ли я тогда папу, когда мы закончили все, что требовалось сделать, прижался ли к нему на мгновение. Мне нравится думать, что да. Я представляю, как он притягивает ме-

ня к себе и мы стоим так, отец и сын в заляпанной кровью рабочей одежде, на виду у всех проходящих по мосту. Наверное, он так и сделал. Надеюсь на это.

Уже была подвешена последняя туша, когда я заметил в проеме, обрамленном мягко покачивающимися кусками мяса, акуратную, облаченную в черное фигуру моего друга Арриго Корбинелли. Он смущенно поднял руку и выдал неловкую улыбочку. Папа тоже его увидел и потрепал меня по плечу.

— Можешь пойти с Арриго, — сказал он. — Мы здесь уже много сделали.

— Ты уверен? — с сомнением переспросил я. В лавке, с папой, я чувствовал себя в безопасности, как будто снаружи, на улицах, все ужасы, пришедшие с маминой смертью, нашли бы меня и разодрали в клочки. — Разве мы не собирались рубить котлеты?

— Нужно и ему дать поработать, — буркнул папа, мотнув подбородком в сторону своего помощника Джованни, который дремал в задней части лавки.

— Но, папа...

— Я не могу заставлять тебя работать здесь целый день. — Он отложил нож, которым срезал с туш куски кожи. — Хочешь пойти обратно домой?

Я прикусил губу, чувствуя, как во мне снова поднимается чудовищная тоска. Маму положили в зале, у головы и ног поставили свечи, а вокруг рассыпали лилии. Весь дом пропитался запахами приторных лилий и оплывающих свечей, но не моей матери: она как будто исчезла, словно вообще никогда не существовала. Все в комнате просило тряпки и веника, а ведь мама ни за что не оставила бы грязь от башмаков плакальчиков неубранной. Да к тому же еще и эта штука, это чучело, лежащее на столе в нашей главной комнате...

— Пойду с Арриго, — решил я. — Но мы же встретимся здесь, да? На закате?

Папа кивнул. Я сходил в заднюю часть помещения и переменял одежду на обычную. Мой друг ждал меня перед лавкой, пиная носком башмака плиты мостовой.

Когда я вышел на свет и шум моста, Арриго отступил на шаг, как будто смерть матери — какая-то зараза, которую можно подцепить, но я его понял. Мы были в том возрасте, когда собственное тело кажется уму слишком нескладным и неудобным. Обнимались детишки, обниматься могли взрослые, но не четырнадцатилетние подростки. Я, точно так же стеснясь, сложил руки на груди.

— Нино, мне очень жаль, — пробормотал Арриго. — Ну, на счет твоей мамы. Мои родители говорят... — Он снова пнул камень. — Слушай, не хочешь в кости перекинуться? Там сейчас играют, за церковью.

— Давай, — ответил я, оглянувшись на отца, который стоял ко мне спиной.

Его широкие плечи обмякли и поникли. Он снова взял нож и точильный камень, но кажется, просто смотрел на них. Мне захотелось вбежать в лавку и помочь ему, остаться с ним, но откуда-то я знал, что не смогу. Поэтому я отвернулся, взял Арриго за руку, и мы понеслись через толпы покупателей, направляясь на север.

— Так что же сказали твои родители? — спросил я друга, когда мы ушли с людной улицы.

— Только то, что твоя мама теперь с Господом.

— Я-то это знаю.

— Я им так и сказал.

Давным-давно я часто задумывался, почему дружу с Арриго. То есть я знал, почему мы вообще подружились: наши отцы состояли в одном церковном братстве. Мессер Симон Корбинелли, не особенно успешный юрист, жил на Корсо Тинтори, и раз в год они с папой облачались в парадные одежды и несли деревянную статую святого по улицам гонфалона Черного Льва. Арриго был тощим и костлявым, высоким для своего возраста и носатым. В детстве у него зимой постоянно выскакивала лихорадка на губах, а летом он чихал от семян травы. Некоторые из ребят звали Арриго Священником, потому что его мама одевала сына в черное и подстригала ему волосы с помощью квашни. К тому же он был весьма начитан, что неудивительно для сына юриста. У него имелся старший брат, который изучал

юриспруденцию в Болонье, и для Арриго отец уготовал то же самое. Мне было пять или около того, когда мы впервые заметили друг друга и принялись подозрительно разглядывать — в базилике. Родители подтолкнули нас друг к другу и посчитали, что мы подружимся.

К нашему общему удивлению, так и вышло. Оказалось, нас объединяет любовь к улицам, к кальчо — нашей флорентийской игре (мяч, тридцать мужчин и много крови), которой благородные юнцы развлекались по праздникам на больших пьяццах города, тогда как простые смертные подражали им в глухих переулках и на пустырях, оставшихся внутри городских стен после чумы, — а также к войнам и интригам. Арриго был страстным книголюбом, и меня мама научила читать, хотя я никогда не отличался таким прилежанием, как мой друг. И он тихо, но с огромной убежденностью верил в Господа нашего. «А кто не верит?» — спросите вы. Это правда. Пожалуй, лучше сказать, что Арриго видел мир так, как его, наверное, видели святые, а я всегда подходил к Богу как обычный человек, им и остаюсь. Однако же он не был ни излишне добродетелен, ни благочестив. Невозможно быть благочестивым и играть в кальчо, а Арриго считался лучшим игроком в гонфалоне Черного Льва.

— А кто там, у церкви? — спросил я.

— Буонаккорси и синьорина. — («Синьорина» означало Тессину Альбицци.) — Это синьорина сказала мне позвать тебя, а не родители. Эти только послали меня отдать последний поклон твоей маме.

— А ты это сделал?

— Да.

Он помолчал, опустив голову. Я пожалел, что Арриго увидел ее. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь еще смотрел на эту штуку, которая, как меня все уверяли, оставалась моей мамой.

— Нино, мне так горько за тебя. Мне очень нравилась твоя мать. — Он закрыл глаза. — Знаешь, «кто умирает — воскресает для жизни вечной». Так сказал святой Франциск.

— Но... Арриго, она просто мертвая! — взорвался я. — Как она может быть такой мертвой здесь и живой где-то еще? Я не понимаю...

Ох ты, Господи! Нельзя плакать, только не перед людьми. Я отвернулся и яростно пнул огромный горшок у стены, в котором рос полудохлый шалфей. Горшок разлетелся шквалом осколков и пыльной земли. Арриго не обратил внимания.

— Тебе нужно верить, что это так, — строго сказал он. — Нужно верить.

— Вот прямо так? — язвительно спросил я. — Так просто?

— Это и не должно быть просто. Это мне просто говорить, твоя-де мама умерла и тебе нужно верить, что она на небесах. Но поверить-то можешь только ты сам. Святой Франциск на самом деле говорил о том, что надо позволить умереть сомнениям, чтобы ты смог воскреснуть на земле.

— А ты-то это сделал? — огрызнулся я.

Арриго тихо фыркнул и пожал плечами:

— Конечно нет. — Потом он изогнул уголок рта в полуулыбке, как всегда, когда пытался показать, что понимает собеседника. — Пойдем же! Кто-то разозлится из-за горшка.

Мы нашли наших друзей в переулке за церковью Сан-Пьер Скераджо. Тессина Альбицци играла в кости с близнецами Буонаккорси, Марио и Марино. Тессина любила азартные игры, хотя они ей плохо давались. Но это было не важно, потому что деньги на кону стояли не ее. Недавно она нашла тайник с почти бесполезными старыми монетами, которые, как она решила, ее дядя спрятал и забыл, и теперь сидела за церковью и швыряла кости о стену, при проигрыше бранясь, как торговка. Тессина жила с дядей и тетей, ужасно благопристойными, и если бы они хоть раз обратили на племянницу внимание, то побили бы за ту компанию, с которой она водилась.

Я знал, что Тессина слышала вчера про мою маму, потому что вся округа говорила: жена Никколайо Латини не протянет и недели. Когда я плюхнулся рядом с подругой, она ничего не сказала, только взяла мою ладонь и сунула в нее кубики. Потом бросила мятую старую монету на маленькую кучку перед босой ногой Марио. Марио всегда держал банк. Хотя они с Марино были детьми красильщиков и, вероятно, никогда в руках не держали книги или абака, Марио мог делать с числами что угод-

но. Тессина мрачно кивнула, я потряс кости и швырнул их о выщербленные кирпичи церкви.

Конечно же, я проиграл. Но моя подруга кидала свои монетки на кучку одну за другой, а я бросал кости — и проигрывал, пока кошелек Тессины не опустел. Тогда мы встали.

— Вы меня разорили, — с поклоном поведала она близнецам. — Идешь, Арриго?

— Мне нужно домой, — ответил тот, смахивая пыль со своей черной котты.

— Труссы вы все! — Марино собрал грязные монетки, встал и отряхнул колени. — Нино, жалко твою маму.

— Очень жалко, — подтвердил Марио, и близнецы торжественно и мрачно перекрестились, идеально синхронно.

Тессина взяла меня за руку, и мы побрели прочь, вниз, к реке. Не помню, о чем мы говорили и говорили ли вообще. Было достаточно просто сидеть и смотреть на воду, слушая шум толпы на мосту. Один человек ловил угрей, а другой торговал вразнос жареными. На какую-то из годных монеток, запрятанных в платье, Тессина купила вертел с угрями и заставила меня поесть. Они были хороши: под корочкой из соли, корицы и сухарей пряталось плотное мясо, пропитанное жиром и чуть отдающее тиной. Это было первое, что я съел с тех пор, как ушла мама. Тессина кормила меня, разрывая рыбу на кусочки и держа так, чтобы я брал их у нее с ладони. Под соленой рыбой и корицей я ощущал вкус кожи моей подруги, и монеток, которые она держала в руках, и грязи того переулка. Когда угорь закончился, Тессина облизнула ладонь, швырнула вертел в Арно и повела меня обратно, к лавке и моему отцу.

Казан Ф.

К 14 Аппетит : роман / Филип Казан ; пер. с англ. А. Олефир. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 512 с. — (The Big Book).

ISBN 978-5-389-11029-8

Жажда жизни, страсть к власти и вкус к приключениям...

Флоренция, 1466 год. Эпоха Медичи, Леонардо да Винчи, Макиавелли, Савонаролы...

Бесчисленные узкие улицы и переулки, шумные мастерские и лавки, монастыри и церкви, дворцы и тюрьмы. За стенами города в этом тесном пространстве живет шестьдесят тысяч человек. Нино Латини знает: если хочешь выжить в этом городе, то должен обуздать свои страсти. Но величайший дар Нино становится его же величайшим проклятием. В отличие от других людей он может ощущать вкус любых предметов, не только кулинарных блюд. Каждый аромат, каждый ингредиент оживает для него так же ярко, как и в живописи, и он использует свой дар уж слишком экстравагантно, нередко рискуя даже жизнью. Смертельно опасной становится и его страсть к прекрасной Тессине. Нино бежит из Флоренции, надеясь, что Фортуна будет милостива к нему...

Впервые на русском языке!

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

ФИЛИП КАЗАН
АППЕТИТ

Ответственный редактор Ольга Рейнгерверц
Редактор Елизавета Дворецкая
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Светлана Федорова, Маргарита Ахметова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 21.01.2016. Формат издания $60 \times 90^{1/16}$.
Печать офсетная. Тираж 6000 экз. Усл. печ. л. 32.
Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YABB1727101R